По просьбе читателей

«Давно уже ничего не слышала о моем любимом писателе Валентине Распутине. Одно время он вроде бы в политику ударился — так хоть по телевизору его показывали. А сейчас не видно и не слышно. И книг его новых не попадается. У нас ходят слухи, будто он из Москвы обратно в Сибирь подался и там новую повесть пишет. Только ведь это слухи. Может, "ВК" что-нибудь поточнее знает?

Маргарита САМОРОДОВА,
Московская обл.»

Писатели Валентин Распутин, Василий Белов, Владимир Крупин и Зорий Балаян на Байкале.

Ответить на письмо нашей читательницы любезно согласилась Эльвина Шугаева, первый заместитель главного редактора журнала "Москва", с которым Валентин Распутин давно и плодотворно сотрудничает.

Случалось, и к нам в журнал приходили письма с подобными вопросами. А еще чаще, на встречах с читателями, обязательно кто-то спрашивал-сетовал: пишет ли Распутин, работает ли как писатель, как художник или весь — в общественной деятельности, политике, публицистике и вообще — как живет?

С прошлого года нам полегче стало отвечать на эти вопросы — "пошли" распутинские рассказы: сразу три новых — "Сеня едет", "Россия молодая", "В одном сибирском городе" — у нас в журнале ("Москва", N 7, 1994); потом в "Нашем современнике" — рассказ "В больнице" (N 4, 1995); и вот — снова в "Москве", в очередном, седьмом, номере печатаются "Женский разговор" и "По-соседски".

Какой Распутин в новых рассказах? Какая проза выходит сегодня из-под его пера? Его недавние слова: "Сейчас вспоминать о "деревенской" литературе — все равно что вспоминать о художниках-передвижниках прошлого века". В новых его рассказах — жизнь сегодняшняя. Писатель вместе с героями хочет понять наше непростое время, размышляя о молодом поколении, которое так резко отличается от отцов и которое, отвергая многое из ценностных ориентиров, не осознает ни глубины этих потерь, ни уродливости подмены их. Но что бы ни было предметом внимания Распутина, это проза современная, в ней — наша с вами жизнь со всеми печальными приметами общего неустроенного бытия.

... Как-то в редакции говорю: "Валентин Григорьевич, в прошлом году рассказы вышли в седьмом номере журнала, нынче — тоже в седьмом, уже как бы и традиция... надо бы укреплять ее". Засмеялся: "Хорошо бы..."

Вот написала "засмеялся" и подумала, что смеющимся Распутина многие и представить не могут: внешне он действительно всегда серьезен, строг, а со стороны — так даже суров и угрюм. Но Валентин Григорьевич очень отзывчив на шутку, а уж если о себе что рассказывает (очень, кстати, редко!), то обязательно с юмором. Был момент, когда он учился водить машину, ну и мимолетно мы заговорили об этом: у меня, говорю, с левыми поворотами целый год проблема была — ездила только прямо или направо. Распутин: повороты — еще куда ни шло, а вот остановиться... Езжу, говорит, кругами, кругами, пока бензин не кончится!

Внимательный читатель, конечно, давно подметил, что даже в глубоких, серьезных сочинениях Распутина, где он использует автобиографические моменты, есть этот оттенок самоиронии. Это видно, например, и в новом рассказе "В больнице", где Распутин ис-

ии публикации

Валентин РАСПУТИН

Веч. клуб.-1995.- 15 июля.-с.3.

Женский разговор

В деревне у бабушки посреди зимы Вика оказалась не по своей доброй воле. В шестнадцать годочков пришлось делать аборт. Связалась с компанией, а с компанией хоть к лешему на рога. Бросила школу, стала пропадать из дому, закрутилась, закрутилась... пока хватились, выхватили из карусели — уже наживленная, уже караул кричи. Дали неделю после больницы отлежаться, а потом запряг отец свою старенькую "Ниву", и, пока не опомнилась, к бабушке на высылку, на перевоспитание. И вот второй месяц перевоспитывается, мается: подружек не ищет, телевизора у бабушки нет — сбегает за хлебом, занесет в избу дров-воды и в кровать за книжку. Темнеет мартовским вечером в восьмом часу, а электричество... прошли те времена, когда электричество всякую минуту было под рукой. Сковырнули заради него ангарские деревни, свалили как попало в одну кучу, затопили поля и луга, порушили вековечный порядок — все заради электричества, а им-то и обнесли ангарские деревни, пустив провода далеко в стороне. Выгоняли его при старых порядках для местных нужд из солярки, а солярка теперь сделалась золотой, требует прорвы денег. Утром посветят, чтобы на работу отправить, а вечером — не всегда... Наталья по-старушечьи [illegible]вается рано, вслед за [illegible]нышком; Вика поскрипит-поскрипит на продавленной пружинной кровати и тоже затихнет.

Девка она рослая, налитая, по виду — вправду в бабы отдавай, но умишко детский, несозревший, голова отстает. Все еще по привычке задает вопросы там, где пора бы с ответами жить. И вялая, то ли с ленцой, то ли с холодцой. Скажешь — сделает, не скажешь — не догадается. Затаенная какая-то девка, тихоомутная. Распахнутые серые глаза на крупном смуглом лице смотрят подолгу и без прищура, а видят ли они что — не понять.

В этот вечер не спалось. Бывает же так: как из природы томление находит, как не оконченное что-то, зацепившееся

— А-а, все надоело...

— Ишо жить не начала, а уж все надоело. Что это вы такие расхлябы, без интереса к жизни?

— Почему без интереса? — то ли утомленно, то ли раздраженно отозвалась Вика. — Интерес есть...

— Интерес есть — скорее бы съесть. Только-только в дверку скребутся, где люди живут, а уж — надоело!.. В дырку замочную разглядели, что не так живут... не по той моде. А по своей-то моде... ну и что — хорошо выходит?

— Надоело. Спи, бабуля.

— Так ежели бы уснулось... — Наталья завздыхала, завздыхала. — Ну и что? — не отступила она. — Не тошно теперь?

— Тошно. Да что тошно-то? — вдруг спохватилась Вика и села в кровати. — Что?

— Ты говоришь: уедешь, — отвечала Наталья, — а мы с тобой ни разу и не поговорили. Не сказала ты мне: еройство у тебя это было али грех? Как ты сама-то на себя смотришь? Такую потрату на себя приняла!

— Да не это теперь, не это!.. Что ты мне свою старину! Проходили!

— Куда проходили?

— В первом классе проходили. Все теперь не так. Сейчас важно, чтобы женщина была лидер.

— Это кто ж такая? — Наталья от удивления стала подскребаться к подушке и облокотилась на нее, чтобы лучше видеть и слышать Вику.

— Не знаешь, кто такая лидер? Ну, бабушка, тебе хоть снова жить начинай. Лидер — это она ни от кого не зависит, а от нее все зависят. Все бегают за ней, обойтись без нее не могут.

— А живет-то она со своим мужиком, нет? — все равно ничего не понять, но хоть это-то понять Наталье надо было.

Вика споткнулась в растерянности:

— Когда ка-ак... Это не обязательно.

— Ну, прямо совсем полная воля. Как у собак. Господи! — просто, как через стенку, обратилась Наталья, не натягивая голоса. — Ох-ох-ох, тут у нас прямо ох-ох-ох...

Вика взвизгнула: котенок

Как заучила! — перебила Вика.

— Что в склад? Не знаю... под душу завсегда поется.

— Как будто раньше не было таких... кто не в первый раз.

— Были, как не были. И девьи детки были.

— Как это?

— Кто в девичестве принес. Необмуженная. До сроку. Были, были, Вихтория, внученька ты моя бедовая, — с истомой, освобождая грудь, шумно вздохнула Наталья. — Были такие нетерпии. И взамуж потом выходили. А бывало, что и жили хорошо в замужестве. Но ты-то с лежи супружьей поднялась искриночкой, звездочкой, чтоб ходить и без никакой крадучи светить. Ты хозяйка. К тебе просются, а не ты просишься заради Бога. А она — со страхом идет, со скорбию. Чуть что не так — вспомнится ей, выкорится, что надкушенную взял. Будь она самая добрая баба, а раскол в ей, терния...

— Трения?

— И трения, и терния. Это уж надо сразу при сговоре не таиться: я такая, был грех. Есть добрые мужики...

— Ой, да кто сейчас на это смотрит, — с раздражением отвечала Вика и заскрипела кроватью.

— Ну, ежели не смотрите — ваше дело. Теперь все ваше дело, нашего дела не осталось. Тебе лучше знать.

И — замолчали, каждая со своей правдой. А какая у девчонки правда? Упрямится и только. Как и во всяком недозрелом плоду кислоты много.

За окном просквозил мотоцикл с оглушительным ревом, кто-то встречь ему крикнул. И опять тихо. Наталья бочком подъеловилась к спинке кровати и отвела рукой занавеску. Еще светлее стало в спальне — отцеженным, слюдянистым светом.

— Зачем ты? Закрой! — встревоженно встрепенулась Вика.

Тонко, из звездной волосинки назревший, висел месяц. И скрадывал — где еще звездочка зазевалась. Полнится каждую ночь, полнится, пока не наберется в круглую сытую луну. Избы на другой стороне улицы стояли придавленно и завороженно — ни дымка, ни огонька, ни звука. Снежные

— Ну и что с дедушкой-то? — настаивала Вика.

— А что с дедушкой... Жили и жили до самой войны. У нас в заводе не было, чтоб нежности друг дружке говорить. Взгляда хватало, прикасанья. Я его до каждой чутельки знала.

— У вас и способов не было...

— Чего это? — слабо удивилась Наталья. — Ты, Вихтория, не рожала... Как пойдет дитенок, волчица и та в разум возьмет, как ему помогчи. Без дохторов, без книжек. Бабки и дедки из глубоких глубин укажут. У людей пожеланье, угаданье друг к дружке должно быть. Как любиться, обзаимность учит. Тяготение такое. У бабы завсегда: встронь один секрет, а под ним еще двадцать пять. А она и сама про него знать не знала.

— Это правильно, — подтвердила Вика. А уж что подтверждала — надо было догадываться. — Женщина теперь сильнее. Она вообще на первый план выходит.

— Да не надо сильнее. Надо любее. Любее любой.

— Бабушка, ты опять отстала, ты по старым понятиям живешь. Женщина сейчас ценится... та женщина ценится, которая целе-устремленная.

— Куда стреленая?

— Не стреленая. Целе-устрем-ленная. Понимаешь?

— Рот разинешь, — кивала Наталья, — так и стрелют, в самую цель. Об чем я с тобой всюю ночь и толкую. Такие меткачи пошли.

Вика с досады саданула ногой по спинке кровати и ушибла ногу, утянула ее под одеяло.

— Ты совсем, что ли, безграмотная? — охала она. — Почему не понимаешь-то? Целе-устрем-ленная — это значит идет к цели. Поставит перед собой цель и добивается. А чтобы добиться, надо такой характер иметь... сильный.

Устраиваясь удобнее, расшевелив голосистые пружины кровати, Наталья замолчала.

— Ну и что, — сказала потом она. — И такие были. Самые разнесчастные бабы. Это собака такая есть, гончая порода называется. Поджарая, вытянутая, морда вострая. Дадут ей на обнюшку эту, цель-то, она и взовьется. И гонит, и гонит, свету не взвидя, и гонит и гонит. Покуль сама из

кой-то холодный продуваемый простор выгнан человек, и гонит его неведомая сила, гонит, не давая остановиться. Сама жизнь гончей породы. Только в гоне, среди множества бегущих и забывается он, бедняга, только тогда и кажется ему, что он живет. А как остановится — страшно. Видно, как все вокруг перекошено, запущено, перекручено.

— Тебя об одном спрашиваешь, ты о другом, — с обидой сказала Вика, не отставая: что-то зацепило ее в этом разговоре, чем-то ей хотелось успокоить себя.

— Про дедушку-то? — вспомнила Наталья. — Ну так, а что про дедушку? Твой-то дедушка и не тот был, с которым я до войны жила...

— Как не тот? — поразилась Вика.

— Ну а как ему быть тому, если того на войне убили, а твой отец опосле войны рожденный? Ни того, ни другого давно уж нету, но сначала-то был один, а уж потом другой. Сначала Николай был, мы с ним эту избенку, как сошлись и отделились от стариков, в лето поставили. Здесь дядья твои Степан да Василий родились, Николаевичи. Отсюда он, первый-то дедушка, на войну ушел. А второго дедушку, твоего-то, он же, Николай, мне сюда послал.

— Как сюда послал? Ты что говоришь-то, бабушка? — Вика рванула кровать, как гармонь, и уселась, наваливаясь на спинку и подбивая под себя подушку. — Ты расскажи.

Что делать: заговорила — надо рассказывать. Наталья подозревала, что младшие ее внуки мало что знают о ней. Одного совсем не привозили в деревню, Вика же была здесь лет пять назад и неизвестно когда приехала бы снова, когда бы не эта история. Знают только: деревенская бабушка; остальные бабушки были городские. Подозревают, что деревенской бабушке полагался деревенский дедушка, но его так давно не было, что о нем и не вспоминали. Легче было вспоминать того, первого, о нем хоть слава осталась: погиб на фронте.

— Как он мог прислать, если он погиб? — и голос звонче сделался у Вики, выдавая нетерпение, и кровать под нею

жить. Знаешь, что и на столе будет, и во дворе, и справа для ребятишек. Меня, если по-ранешному говорить, любил. Остановит другой раз глаза и смотрит на меня, хорошо так смотрит... А я уж замечу и ну перед ним показ устраивать, молодой-то было чем похвалиться.

— И чем ты хвалилась?

— А своим. Все своим. Чем еще? Работой я в ту пору не избита была, из себя аккуратная, улыбистая. Во мне солнышко любило играть, я уж про себя это знала и набиралась солнышка побольше. Потом-то отыгра-ало! — протянула она, проводя границу. — Потом все. Сразу затмение зашло. Отревела опосле похоронки, пооглянулась, с чем осталась... Двое ребятишек, одному пять годков, другому три. А младшенький еще и слабенький, никак в тело не мог войти, ручки — ножки как прутики...

— А папы, значит, тогда еще не было? — пробовала Вика спрямить бабушкин рассказ.

— Папы твово не было. Он из другого замеса. Похоронку на Николая принесли зимой, вскорости война кончилась, а осенью, как поля подобрали, прихожу повечеру домой, какой-то мужик на бревнышках под окошками сидит. В шинельке в военной, в сапогах. Меня увидал — поднялся. Я, говорит, вместе с вашим мужем воевал и был при нем, когда он от раны смертельной помер. Я, говорит, писал вам, как было... получали мое письмо?

Письмо такое было, оно и потеперь у меня в сохранности. Зашли мы в избу, давай я чай гоношить. А сама все оглядываюсь на него, все думаю: за чем приехал? И ехать неблизко, из-под самого из-под Урала, гора поперек земли так называется. Как снял шинельку — худой, длинный, шея колышком стоит, руки-ноги, как у мальчонки мово, у Васьки, болтаются. По всему видать, досталось солдатику. Один раз был раненый и другой раз контуженый. Контузия получилась хужей раны, он никак не мог ее в докончательности снять.

— Ну и что? — не выдерживала Вика. — Вы пили чай, и он сказал, что его прислал первый дедушка вместо себя?

— Не егози, — одернула ее Наталья. — Это у вас — раз и готово. В первый день он только и сказал, что дал Николаю слово проведать нас. Я отвела его ночевать к старикам. Ты по воду ходишь по заулку... третья изба по правую руку на углу, совсем уж старенькая, под тесовой крышей.. это наш был дом, у меня там отец с матерью жили. Ну и я там жила, покуль мы с Николаем здесь не построились. Отвела я его туда, забрала ребятишек... они, ребятишки, когда я на работе, у стариков оставались. Он ребятишкам гостинцы дал, по большому куску сахару. Приметила, как уходила: отец заради такого гостя из запасу бутылку достал, а он пить не стал. Мне, говорит, контузия не позволяет.

Набираясь сил, Наталья придержала рассказ. Тишина стояла такая, что словно бы потрескивание звездочек доносилось с неба тонким сухим шуршанием. Спущенная с постели, болтающаяся рука Вики виделась несоразмерно большой и неестественно белой, окостеневшей. И уже не из левого, а из правого окошка смотрел на Вику запрокидывающийся серпик месяца.

— На другой день он пришел с утра, — без подталкивания продолжила Наталья. — Я, говорит, вчера не все сказал.

Его Семеном звали, твой отец Семенович. Прошу, говорит, меня выслушать до конца и не удивляться, а дать свою волю.

Я так и закаменела, в голову что ударило: живой, думаю, Николай, но сильно покалеченный и боится показаться. А он говорит... он вот какую страсть говорит. Будто просил Николай прийти ко мне и передать его пожеланию. Сильно, мол, любил он меня и дал мне перед смертью вольную от себя. Какую вольную? Выйти за другого. Стоит в шинельке, я его и раздеться не позвала, голова дергается... это у него

ушел.

— Ушел?! — поразилась Вика. — Как ушел? Откуда же он потом взялся?

— Ушел, уехал, — подтвердила Наталья ровным голосом и перевела дух. — А недели через три или там через сколько, снег уж лег, с торбой обратно. Это он на зиму одежу привез. Ко мне не зашел, встал на постой у моих стариков. Прямо родня. Начал ходить на колхозную работу. Я на него не гляжу, будто его и нету, и он не глядит, будто не из-за меня воротился.

Вика опять не удержалась:

— Ну, бабушка, какие же вы раньше были забавные! А ты уж его полюбила, да?

— Да какая любовь?!

— У вас что — и любви в то время по второму разу не было?

— Слушай, — с досадой отвечала Наталья, недовольная, что ее пребивают, как ей казалось, глупостью. — Любовь была, как не быть, да другая, ранешная, она куски, как побирушка, не собирала. Я как думала: не ровня он мне. Зачем мне себя травить, его дурить, зачем людей смешить, если никакая мы не пара? На побывку к себе брать не хотела, это не для меня, а для жизни устоятельной ровня нужна.

Наталья замолчала. Все-таки сбилась она с рассказа, потеряла нитку, которую тянула, и теперь словно бы нашаривала ее, перебирая торчащие прихваты.

— Ну, живет, — повздыхав, повела она дальше. — Ребятишки там, у стариков, и он там. Они уж и домой не идут. Сам же и приведет, уговорит, что до завтрашнего только дня расстаются, а со мной разговор самый посторонний. Борьба у нас пошла — кто кого переборет. Я упористая, и он на войне закаленный. Вижу, он мою же силу супротив меня сколотил: ребятишки души в нем не чают, а там и старики его сторону взяли. Особливо мать. Пошло на меня нажимание со всех сторон. Бабы в деревне корят: дура да дура. А сам вроде и не при чем, даже и не подступает.

Вика рассмеялась:

— А тебе уж обидно, что не подступает. Ты уж ревнуешь...

— Я не ревную, а обложили. Это бы ладно, это бы я выдюжила, я баба крепостная...

— С чего ты крепостная? Крепостные при царе были. Крепкая, что ли, ты хотела сказать?

— Я любой приступ бы выдюжила, это мне нипочем, — повторила Наталья не без похвальбы. — Но я говорю: он был контуженый, больной. А контузия такая: лягет и весь свет ему не мил. Не слышит ниче и не видит, глаза страхом каким-то зайдутся. Койни-как оторвет себя от кровати, встанет, а идти не может. Потом опять ниче. Ну, вот. Смотрела я, смотрела и высмотрела, что это я ему нужна, что без меня он долго не протянет.

— И ты его за это полюбила?

— Что ты все, "полюбила, полюбила"... — без раздражения, спокойно ответила Наталья. — Это уж вы любитесь, покуль сердце горячее. А я через сколько-то месяцев, это уж вода побежала по весне, смирилась и позвала его. Без всяких любовей. Чему быть, того не миновать. Он пришел и стал за хозяина. Семь годов мы с ним прожили душа в душу, дай-то Бог так кажному. И в год потом загас. Не жилец он был на белом свете, я это знала. Но мне и семь годов хватило на всю остатную жизню.

— Он что — лучше был первого дедушки? — спросила Вика, уже теряя интерес и сползая в рост в постель: история кончилась.

— Отшлепать бы тебя за такие разговоры, — слабо возмутилась Наталья. — Так я тебе скажу, внученька. Я древляя старуха, столько годов прожила, что на две могилы хватит. Источилась вся от жизни. И отсюда, с высокой моей горушки, кажется мне: не два мужика у меня было, а один. В одного сошлось. На войну уходил такой, а воротился не такой. Ну так а что с войны и спрашивать? Война и есть война. Ты говоришь... молоденькая, без

Наши публикации

Женский разговор

ными вопросами. А еще чаще, на встречах с читателями, обязательно кто-то спрашивал-сетовал: пишет ли Распутин, работает ли как писатель, как художник или весь — в общественной деятельности, политике, публицистике и вообще — как живет?

С прошлого года нам полегче стало отвечать на эти вопросы — "пошли" распутинские рассказы: сразу три новых — "Сеня едет", "Россия молодая", "В одном сибирском городе" — у нас в журнале ("Москва", N 7, 1994); потом в "Нашем современнике" — рассказ "В больнице" (N 4, 1995); и вот — снова в "Москве", в очередном, седьмом, номере печатаются "Женский разговор" и "По-соседски".

Какой Распутин в новых рассказах? Какая проза выходит сегодня из-под его пера? Его недавние слова: "Сейчас вспоминать о "деревенской" литературе — все равно что вспоминать о художниках-передвижниках прошлого века". В новых его рассказах — жизнь сегодняшняя. Писатель вместе с героями хочет понять наше непростое время, размышляя о молодом поколении, которое так резко отличается от отцов и которое, отвергая многое из ценностных ориентиров, не осознает ни глубины этих потерь, ни уродливости подмены их. Но что бы ни было предметом внимания Распутина, это проза современная, в ней — наша с вами жизнь со всеми печальными приметами общего неустроенного бытия.

... Как-то в редакции говорю: "Валентин Григорьевич, в прошлом году рассказы вышли в седьмом номере журнала, нынче — тоже в седьмом, уже как бы и традиция... надо бы укреплять ее". Засмеялся: "Хорошо бы..."

Вот написала "засмеялся" и подумала, что смеющимся Распутина многие и представить не могут: внешне он действительно всегда серьезен, строг, а со стороны — так даже суров и угрюм. Но Валентин Григорьевич очень отзывчив на шутку, а уж если о себе что рассказывает (очень, кстати, редко!), то обязательно с юмором. Был момент, когда он учился водить машину, ну и мимолетно мы заговорили об этом: у меня, говорю, с левыми поворотами целый год проблема была — ездила только прямо или направо. Распутин: повороты — еще куда ни шло, а вот остановиться... Езжу, говорит, кругами, кругами, пока бензин не кончится!

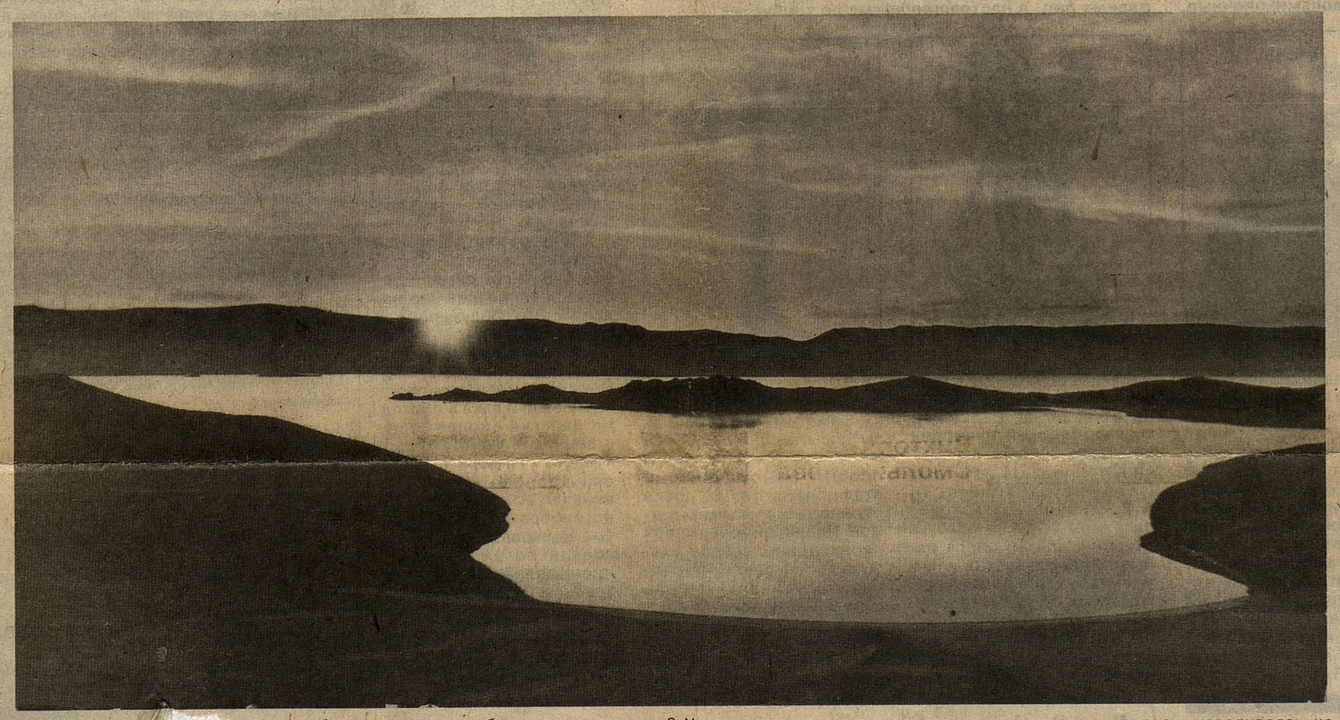
Внимательный читатель, конечно, давно подметил, что даже в глубоких, серьезных сочинениях Распутина, где он использует автобиографические моменты, есть этот оттенок самоиронии. Это видно, например, и в новом рассказе "В больнице", где Распутин использует "сюжет" собственного пребывания в одной из московских клиник. Грустный юмор по поводу обстоятельств, в которые попадает герой рассказа (читай — сам автор), как бы еще более подчеркивает значительность рассказа, о котором В. Крупин очень верно написал: "Слишком огромны и велики проблемы этого рассказа, чтобы говорить о нем, надо читать".

Ну а что касается жизни и быта Валентина Григорьевича, то в последние годы при встречах с Распутиным дежурным стал вопрос: сколько сегодня стоит авиабилет от Иркутска до Москвы? Он называет очередную умопомрачительную цифру — называет с некоторой неловкостью, за то что он как бы может и выложить такую сумму за билет. Но мы-то знаем, что это единственная "роскошь", которую он себе позволяет, — в тратах на жизнь Распутины очень скромны, а сам он не курит (и никогда не курил), не пьет (совсем и очень давно)...

Если раньше можно было (и неплохо) прожить на писательские гонорары, то теперь... В прошлом году издательство "Молодая гвардия" выпустило его трехтомник. Разумеется, я не спрашивала прямо о гонораре, но по некоторым деталям общего разговора поняла — немного: хорошо хоть достанет на билеты для жены и дочери.

Дочь, кстати, в этом году закончила консерваторию. И слава Богу, самостоятельно (постоянно в Иркутске) живет сын Сергей с семьей...

Все-таки московское свое житье Валентин Григорьевич считает как бы длительной командировкой, а в Иркутск он едет домой. Там ему работается, пишется. Там он и сейчас — до осени-зимы.



лья по-старушечьи [illegible] зается рано, вслед за [illegible]ышком; Вика поскрипит-поскрипит на продавленной пружинной кровати и тоже затихнет.

Девка она рослая, налитая, по виду — вправду в бабы отдавай, но умишко детский, несозревший, голова отстает. Все еще по привычке задает вопросы там, где пора бы с ответами жить. И вялая, то ли с ленцой, то ли с холодцой. Скажешь — сделает, не скажешь — не догадается. Затаенная какая-то девка, тихоомутная. Распахнутые серые глаза на крупном смуглом лице смотрят подолгу и без прищура, а видят ли они что — не понять.

В этот вечер не спалось. Бывает же так: как из природы томление находит, как не оконченное что-то, зацепившееся не дает отпущения ко сну. Вздыхала, ворочалась Наталья; постанывала, крутилась Вика. То принималась играть с котенком, то сбрасывала его на пол. За беленькими тонкими занавесками в двух окнах, глядящих на Ангару, мерцал под ранним месяцем ранний вечер. Сбилось со своего сияния электричество — и опять увидели небо, запотягивались, как всякая Божья тварка, за солнышком, стали замечать, когда скобочка молодого месяца, когда полная луна.

День отстоял на славу — солнечный, яркий, искристо играли тугие снега, берущиеся в наст, звенькало из первых сосулек, загорчил первым подтаем воздух. За Ангарой, после заката, долго горело растекающееся зарево и долго томилось, впитываясь внутрь, долго потом уже новым, не зимним мягким пологом лежала по белому полю нежная синева. Но еще до темноты взошло и разгорелось звездное небо с юным месяцем во главе и пролился на землю капельный, росистый сухой свет.

Нет, не брал сон, ни в какую не брал. Истомившись, бабушка и внучка продолжали переговариваться. Днем Наталья получила письмо от сына, Викиного отца. Читала Вика: собирается отец быть с досмотром. Из-за письма-то, должно быть, и не могло сморить ни одну, ни другую.

— Уеду, — еще днем нацелилась Вика и теперь повторила: — Уеду с ним. Больше не останусь.

— Надоело, выходит, со мной, со старухой?

скребаться к подушке и облокотилась на нее, чтобы лучше видеть и слышать Вику.

— Не знаешь, кто такая лидер? Ну, бабушка, тебе хоть снова жить начинай. Лидер — это она ни от кого не зависит, а от нее все зависят. Все бегают за ней, обойтись без нее не могут.

— А живет-то она со своим мужиком, нет? — все равно ничего не понять, но хоть это-то понять Наталье надо было.

Вика споткнулась в растерянности:

— Когда ка-ак... Это не обязательно.

— Ну, прямо совсем полная воля. Как у собак. Господи! — просто, как через стенку, обратилась Наталья, не натягивая голоса. — Ох-ох-ох, тут у нас прямо ох-ох-ох...

Вика взвизгнула: котенок оцарапал ей палец и пулей метнулся сквозь прутчатую спинку кровати на сундук и так, выпаставшись, затаился. Слышно было, как Вика, причмокивая, отсасывает кровь.

— А почему говорят: целомудрие? — спросила вдруг она. — Какое там мудрие? Ты слышишь, бабушка?

— Слышу. Это не про нас.

— А ты скажи.

— Самое мудрие, — сердито начала Наталья. — Без ума штанишки не скидывают. — Она умолкла: продолжать, не продолжать? Но рядом совсем было то, что могла она сказать, искать не надо. Пусть слышит девчонка — кто еще об этом ей скажет. — К нему прижаться потом надо, к родному-то мужику, к суженому-то, — и подчеркнула "родного" и "суженого", поставила на подобающее место. — Прижаться надо, поплакать сладкими слезьми. А как иначе: все честь по чести, по закону, по сговору. А не по обнюшке. Вся тута, как Божий сосуд: пей, муженек, для тебя налита. Для тебя взросла, всюю себя по капельке, по зернышку для тебя сневестила. Потронься: какая ласкаяя, да чистая, да звонкая, без единой без трещинки, какая белая, да глядистая, да сладкая! Божья сласть, по благословению. Свой он и есть свой. И запах свой, и голос, и приласка не грубая, как раз по тебе. Все у него для тебя приготовлено, нигде не растеряно. А у тебя для него. Все так приготовлено, чтоб перелиться друг в дружку, засладить, заквасить собой на всю жизнь.

— Что это ты в рифму-то?! чонки правда? Упрямится и только. Как и во всяком недозрелом плоду кислоты много.

За окном просквозил мотоцикл с оглушительным ревом, кто-то встречь ему крикнул. И опять тихо. Наталья бочком подъеловилась к спинке кровати и отвела рукой занавеску. Еще светлее стало в спальне — отцеженным, слюдянистым светом.

— Зачем ты? Закрой! — встревоженно встрепенулась Вика.

Тонко, из звездной волосинки назревший, висел месяц. И скрадывал — где еще звездочка зазевалась. Полнится каждую ночь, полнится, пока не наберется в круглую сытую луну. Избы на другой стороне улицы стояли придавленно и завороженно — ни дымка, ни огонька, ни звука. Снежные шапки на крышах, подтаявшие за день, сидели набекрень и ладенисто взблескивали под могучим дыханием неба. Такое там царило безлюдье, такая немота и такой холод, так искрилось небо над оцепеневшею землей и такой бедной, сиротливой показалась земля, что Наталье стало не по себе. Опустив занавеску и уползая под одеяло, она прошептала:

— Господи, помилуй...

— Что там, бабушка? — не поняла Вика.

— Везде там, внученька, Господи, помилуй...

— Ты что — больше ничего не видела?

— Нет. Спи.

Не сразу, через молчание, через вздохи, совсем по-бабьи:

— А у вас как с дедушкой было?

Наталья далеко была, не поняла:

— С дедушкой? Что было?

— Ну, как в первый раз сходились? Или ты забыла?

Наталья вздохнула так, что показалось — поднялась с кровати. Пришлось во-он откуда возвращаться, чтобы собраться с памятью. И сказала без радости, без чувства:

— Мы невенчаные легли. Это уж хорошего мало. Повенчаться к той поре негде было, церквы посбивали. Взяла я под крылышко свои восемнадцать годочков, перешила старое платье под новое — вот и вся невеста. Год голодный стоял. Выходили в деревне и в 16 годочков, как тебе... Так выходили доспевать в мужних руках, под прибором... — Наталья сбилась и умолкла.

меткачи пошли.

Вика с досады саданула ногой по спинке кровати и ушибла ногу, утянула ее под одеяло.

— Ты совсем, что ли, безграмотная? — охала она. — Почему не понимаешь-то? Целе-устрем-ленная — это значит идет к цели. Поставит перед собой цель и добивается. А чтобы добиться, надо такой характер иметь... сильный.

Устраиваясь удобнее, расшевелив голосистые пружины кровати, Наталья замолчала.

— Ну и что, — сказала потом она. — И такие были. Самые разнесчастные бабы. Это собака такая есть, гончая порода называется. Поджарая, вытянутая, морда вострая. Дадут ей на обнюшку эту, цельто, она и взовьется. И гонит, и гонит, свету не взвидя, и гонит, и гонит. Покуль сама из себя не выскочит. Глядь: хвост в стороне, нос в стороне и ничегошеньки вместе.

— Бабушка, ну ты и артистка! При чем здесь гончая? И где ты видала гончую? У вас ее здесь быть не может.

— По тиливизиру видала — смиренно отвечала Наталья. — К Гале, к соседке когда схожу вечером на чай, у ней тиливизир. Все-то все кажет. Такой проказливый, прямо беда.

— И гончую там видала?

— И гончую, и эту, про которую ты говоришь, целе-устремленную... Как есть гончая на задних лапах. Ни кожи, ни рожи. Выдохнется при такой гоньбе — кому она нужна? Нет, Вихтория, не завидуй. Баба своей, бабьей породы должна быть. У тебя тела хорошая, сдобная. Доброе сердце любит такую телу.

— Все не о том ты, — задумчиво отвечала Вика. — Все теперь не так.

Котенок спрыгнул с ее кровати, выгибая спину, с поднятым хвостом вышагал на середину комнаты и, пригнув голову, уставился на окно, за которым поверх занавески играло ночное яркое небо. Звездный натек застлал всю комнату, чуть пригашая углы, и в нем хорошо было видно, как котенок поворачивает мордочку то к одному окну, то к другому, видна была задыбившаяся пепельная шерстка и то, как он пятится, как неслышно бежит в кухню.

— Не о том, — согласилась с внучкой Наталья. — Хочешь, не хочешь, а надо признаваться: все теперь не так. На ка-

и уселась, наваливаясь на спинку и подбивая под себя подушку. — Ты расскажи.

Что делать: заговорила — надо рассказывать. Наталья подозревала, что младшие ее внуки мало что знают о ней. Одного совсем не привозили в деревню, Вика же была здесь лет пять назад и неизвестно когда приехала бы снова, когда бы не эта история. Знают только: деревенская бабушка; остальные бабушки были городские. Подозревают, что деревенской бабушке полагался деревенский дедушка, но его так давно не было, что о нем и не вспоминали. Легче было вспоминать того, первого, о нем хоть слава осталась: погиб на фронте.

— Как он мог прислать, если он погиб? — и голос звонче сделался у Вики, выдавая нетерпение, и кровать под нею наигрывала, не переставая. — И как это вообще можно прислать?

— Вот так, — подтвердила Наталья и покивала себе. — Чего только в жизни не состроится. Ко мне Дуся на чай ходит... знаешь Дусю?

— Ну.

— Она опосле войны у родной сестры мужика отбила. У старшей сестры, у той уж двое ребятишек было, а не посмотрела ни на что, увела. Мужик смоpенный, а взыграл, поддался. Та была путная баба, а у Дуси все мимо рук, все поперек дела. Ни ребятешек не родила, ни по хозяйству прибраться... охальница, рюмочница... Ну, как нарочно, одно к одному. И терпел мужик, сам стряпал, сам корову доил. Теперь уж и его нет, и сестры не стало, а Дуся к тем же ребятам, которых она без отца оставила, ездит в город родниться, помочь от них берет. Приходит позавчера ко мне: "Наталья, я в городу была, окрестилася. Потеперь спасаюсь". — "Тебе спасаться долгонько надо, — говорю ей. — Не андел".

— Бабушка! — вскричала Вика. — Тебя куда опять понесло? Мне неинтересно про твою Дусю, ты про себя, про себя. Про второго дедушку.

— Ворочаюсь, ворочаюсь, — согласилась Наталья, вздыхая. — Я тоже стала, куда понесет. Ну, слушай. С Николаем я прожила шесть годов. Хорошо жили. Он был мужик твердый. Твердый, но не упрямый... ежели где моя права, он понимал. За ним легко было

Я так и закаменела, в голову что ударило: живой, думаю, Николай, но сильно покалеченный и боится показаться. А он говорит... он вот какую страсть говорит. Будто просил Николай прийти ко мне и передать его пожеланию. Сильно, мол, любил он меня и дал мне перед смертью вольную от себя. Какую вольную? Выйти за другого. Стоит в шинельке, я его и раздеться не позвала, голова дергается... это у него от контузии... как за нервы заденет, голову поддергивает... не так, чтоб сильно, но заметно. И говорит... Мне, говорит, Николай сказал, что нигде, во всем белом свете не найду я бабу лутше и добрей, чем ты. А тебе от него завещание, что будет тебе со мной хорошо. Вот такая смертная воля. Я так и села...

— Но тебе же приятно было, что он тебе предложение сделал? — спросила Вика, неумело подтрунивая.

Наталья не стала отвечать.

— И ты зарадя этого поехал? — спрашиваю его. "Поехал". — "Отец, мать есть у тебя?" — "Мать померла, отец есть". — "Что это за приказания такая, что от отца, от братьев, поди, от сестер пошел неведомо куда и про родню забыл?" Молчит. "Что за приказания такая лютая?" — "Что в ней, — говорит, — лютого? Ты Николая любила, а я ему верил. Я тебя не знал, ты меня не знала, а он знал и тебя и меня. Он бы зря не стал нас сводить". — "Не-ет, ты голову, — говорю, — на место поставь и подумай: на что тебе брать чужую бабу с хвостами, когда теперь молодых девок невпересчет? На что? Во мне уж теперь ни одной сочинки для любовей не осталось, я тебе совсем даже негожая. Я, поди, и старше тебя". Стала спрашивать про годы — так и есть: на три годочка я старше. "Ты, видно, — говорю, — хороший человек, Николай плохого не подослал бы, но я твою милость принять не могу. Уходи, уезжай". Он постоял, постоял и

мутилась Наталья. — Так я тебе скажу, внученька. Я древляя старуха, столько годов прожила, что на две могилы хватит. Источилася вся от жизни. И отсюда, с высокой моей горушки, кажется мне: не два мужика у меня было, а один. В одного сошлось. На войну уходил такой, а воротился не такой. Ну так а что с войны и спрашивать? Война и есть война. Ты говоришь... молоденькая, без подумы говоришь... Когда он прикасался ко мне... струнку за стрункой перебирал, лепесток за лепестком. Чужой так не сумеет.

— Забавная ты, бабушка, — неопределенно сказала Вика и громко, со вкусом зевнула.

— Вот поживешь с мое, и даст тебе Бог такую же ночку поговорить со внучкой. И скажет она тебе: забавная ты старуха. Не отказывайся: и ты будешь забавная. Куда деться? Ох, Вихтория, жизня — спаси и помилуй... Устою возьми. Без устои так тебя истреплет, что и концов не найдешь.

Наталья отлежала спину и со стоном повернулась на бок. Вика уже посапывала. Ее лицо, большое и белое, лежало на подушке в бледном венчике ночного света, склонившись чуть на бок, на подставленную руку. Наталья вгляделась: нет, неспокойно засыпала девчонка — подергивались, одновременно вздрагивая, плечи, левая рука, ища гнезда, оглаживала живот, дыхание то принималось частить, то переходило в плавные неслышные гребки.

С тихим звоном билась в стеклину звездная россыпь, с тихим плеском наплывал и холодно замирал свет. Стояла глубокая ночь, ни звука не доносилось из деревни. И только небо, разворачиваясь, все играло и играло мириадами острых вспышек, выписывая и предвещая своими огненными письменами завтрашнюю неотвратимость.